

Ю.Геллер.

*Мой дядя Аркадий Самойлович Геллер  
был замучен и погиб в сталинском застенке.  
Эта повесть о нем и ему посвящается.*

## **МОЙ КОМБРИГ . (повесть)**

Лысый визгливо и пронзительно орал на меня, утверждая, что враг по моей вине ушел от справедливого пролетарского суда, и что мне теперь несдобровать. Голова болела, особенно левая скула. В глазах стоял какой-то туман.

А я смотрел на цементный пол.

На нем, лицом вниз, с окровавленными волосами, от которых бежал красный ручеек, лежал дорогой мне человек - мой комбриг.

Он был мертв.

Я и сам бы умер, если бы не Таня. Не знаю, что было бы со мной.

Она окликнула меня, когда я совершенно бесцельно шагал по грязи вдоль строящейся набережной Москвы-реки у Большого Каменного моста. Как она меня узнала, трудно понять. Я был в форме, а она видела меня только в гражданском. Голова у меня была перебинтована, левая скула и левый глаз закрыты. Какой-то необычно холодный, промозглый мартовский дождь, казалось, пробивал меня насквозь.

- Митя! Митя! Дмитрий Алексеевич!

Я остановился, обернулся и увидел бегущую ко мне девушку. Только когда она подбежала, узнал Таню. Не знаю, откуда в ней, в двадцатилетней девчонке, взялось столько решимости и энергии. Она потащила меня к себе на Остоженку, куда они, оказывается, переехали в двухкомнатную квартиру в старинном одноэтажном каменном особнячке. Когда мы пришли, я спросил где мать.

- Умерла в прошлом году - ответила Таня.

Я кивнул головой и сел. Ни на какую другую реакцию уже меня не хватало.

- Вам когда на службу, Митя?

Я помню все это, как будто это было вчера.

Я ответил, что у меня освобождение и послезавтра я должен идти в санчасть. Таня куда-то выскочила, а я сидел, уставившись в пол. Она быстро вернулась, повозилась в буфете и, не говоря ни слова, поставила передо мной на столик граненый стакан водки. Я выпил его единым махом и она протянула мне соленый огурец и кусок черного хлеба с колбасой.

Я и сейчас вижу этот кусок так, как будто держу его в руках.

Потом она подтащила меня к дивану, помогла снять сапоги и, когда я лег, накрыла суконным одеялом. Я провалился в какой-то полусон-полубеспамятство. Всю ночь меня мучили кошмары и Таня не отходила от меня.

Пришел я в себя на следующий день к вечеру. Осмотрел Танино жилище. Две маленькие смежные комнатки, маленький коридорчик с туалетом и крохотная кухонька, дверь из которой вела на крыльцо во двор. Я заметил водопровод, центральное отопление. В углу кухни стояла двухконфорочная газовая плита.

Таня возилась на кухне и, не отрываясь от дела рассказывала:

- Нас на старой квартире хотели уплотнить. А здесь жила семья в восемь человек, да еще с другой стороны дома в отдельной комнате жила их бабушка. И они еще боялись жить на первом этаже. Мама случайно познакомилась с ними и мы быстро, за одну неделю, поменялись. Наша соседка въехала в бабушкину комнату. У них получилась большая четырехкомнатная квартира, а мы были довольны этой. Они хорошие люди. Мы к ним, в свою бывшую квартиру, в гости ходили. Единственно, что не хорошо было - Вы куда-то пропали. Я Вас искала и не нашла. Мама, хотя к Вам хорошо относилась, считала, что это все к лучшему. А я поступила в медицинский и сейчас кончаю второй курс.

Только я поступила и начала учиться, пошла какая-то черная полоса. У тех, с кем мы сменялись, арестовали отца. Бабушку, мать, детей, племянников - всех куда-то выселили. Потом умерла мама. Внезапно, от разрыва сердца. Я совсем растерялась. Однокурсники и соседка помогли ее похоронить. В общем и Вы куда-то исчезли, и кругом пустота какая-то...!

Я помню, конечно, не слова, а смысл таниного монолога. Потом она спросила:

- Вы сейчас военный? Где Вы служите? Вы женаты?

И тут я решил, что мне пора уходить. Я не знал, что будет со мной завтра и не хотел портить ей жизнь. Я стал натягивать шинель.

Таня выскочила из кухни.

- Вы куда, Митя? А ужинать? Я все приготовила!

Я застегнул шинель. Она подошла ко мне.

- Вас ждут, беспокоятся? У Вас семья?

- Никого у меня нет и живу я в общежитии - ответил я - просто нельзя мне оставаться!

Я открыл дверь и вышел на крыльцо. Уже стемнело, шел дождь.

Таня догнала меня во дворе. Раздетая, в домашних тапочках, она обняла меня и уткнулась лицом в шинель.

- Не уходите, Митенька! Вы же не хотите уходить, я вижу! Я люблю Вас! Мне не страшно одной, мне страшно без Вас!...И никто другой мне не нужен!

Я остался. Остался с ней на всю жизнь и благодарен за это судьбе.

Гроза в тот раз не разразилась надо мной. Сначала меня хотели отдать под трибунал. Потом, по соображениям собственной безопасности, дело замяли. Было объявлено, что я вступил в схватку с врагом и не дал ему совершить побег. Но из НКВД меня выставили, перевели в кадры РККА и послали учиться на КУКСы.<sup>1</sup>

Так началась моя вторая служба в Красной Армии.

Здоровье стало сдавать. Сейчас не работаю, пишу вот.

Таня работает, ей до пенсии еще десяток лет. Наташка с мужем работают. А я - полковник в отставке - сижу с внучкой, когда она болеет и не попадает в сад.

С рождением внучки у нас пошла полоса удачи.

Нам дали шикарную трехкомнатную квартиру с лоджией на проспекте Мира. Наташка наконец-то, с третьего захода, поступила на вечерний медицинский и пошла по стопам матери.

Зовут внучку тоже Танечка, но мы все зовем ее Лялькой. Ей уже шестой год, девица она вполне самостоятельная, и мы с ней оба трудимся. Она - в своем углу, я в - своем. Иногда, отвлекшись от своих дел, она задает вопросы. Такие, что и не сразу сообразишь, как на них ответить. Например, вот такой:

- Дедушка, а откуда я взялась?

В самом деле, если в более философском плане посмотреть на вещи, то как все это могло быть?

Как смог я выжить и уцелеть?

Не знаю.

В голове непрерывной чередой проносятся картинки прошлого и большая часть из них кончается этим цементным полом и окровавленной головой моего комбрига.

Родился я в 1903-м в Белоруссии, в маленьком городишке Мстиславль, примерно половину которого составляло еврейское население. Отец мой был возчиком, "цодеком". Профессия эта была у нас, в основном, еврейской, да и само слово-то "цодек" - ихнее. Отец, несмотря на то, что был коренной белорусс, считался у них своим, и говорил, и ругался на идиш не хуже, а может быть и лучше другого еврея. И пил не хуже любого цодека, а они на это дело были великие мастера. Силушкой отца тоже бог не обидел. Драться он не дрался никогда, но задевать его боялись.

Мне было около шести лет, когда отец погиб. Несколько приезжих гастролеров и парочка наших, местных, подонков решили поджечь синагогу во время ночного богослужения. Отец возвращался из поездки и ехал в Гору (так улица называлась), когда повстречал всю компанию. Он их может и не заметил бы, но его кто-то окликнул:

- Олекса! Пошли жидовню жечь!

Отец ответил:

---

<sup>1</sup> Курсы Усовершенствования Комсостава РККА

- Сейчас!

Слез с козел, медленно обошел повозку, подпер камнями задние колеса. Потом вывернул оглоблю и молча стал охаживать всю их пьяную свору. Одного сбил с ног, еще несколькими досталось, но и его ударили тяжелым шкворнем по голове. Выскочили люди, часть этих мерзавцев бежала, но двоих поймали. Они и рассказали, как было дело. Потом приехал пристав и их увез.

Богослужение в синагоге прекратилось. Около нашего дома всю ночь толпился народ. Прибежал наш фельдшер Фрумкин. Про него говорили, что у него золотое сердце и золотые руки. И опыт, и знания у него были, как я сейчас думаю, повыше фельдшерских, и удавалось ему многое. Он целую ночь сражался со смертью у отцовской постели, но спасти отца не удалось. Наутро отец умер.

Хоронили его почти всем городом. В церкви отпевали, а в костеле и синагоге тоже устроили службы в это же время. Денег за это у матери не взяли нигде. И не то, чтобы богатые евреи заплатили, никто не платил. Добровольно отпевали.

Замуж вторично мать не вышла, хотя когда погиб отец, ей было всего 24 года и женщиной она была красивой и задорной. Она сама занялась извозом и цодеки, если могли, давали ей лучшую работу. А главное - стремились при ней не так свирепо выражаться, что было для них, конечно, самым тяжелым и накладным.

Мы с матерью жили не широко, но не бедствовали. Мать очень хотела, чтобы я учился. Она с кем-то поговорила, и меня стала обучать грамоте дочь старосты синагоги, высокая и стройная девушка, уже несколько лет, как окончившая гимназию и занимавшаяся музыкой и преподаванием. Здесь-то и пересекся мой путь с моим будущим комбригом - одним из ее младших братьев.

Он был на пять лет старше меня. Высокий крепыш, непременно участник почти всех городских мальчишеских драк, он ходил всегда в сопровождении нескольких сверстников, таких же вольных и бесшабашных, как сам, и его побаивались не только ребята, но и взрослые парни. Иметь такого покровителя в нашем местечке значило очень много. Обиды он не прощал никому и возмездие, обычно, следовало незамедлительно. Дважды оно принимало такие формы, что моему будущему командиру попадало от отца.

Об этом человеке надо сказать особо.

Отец моего комбрига был медный мастер, ремесленник. Был молчалив, спокоен, нетороплив, пользовался всеобщим уважением, за что и избрали его старостой синагоги. Силы он был необычайной.

Однажды загорелся сарай, в котором находился привезенный для ремонта восьмипудовый сатуратор. Мастер бросился в огонь, поднял и вытащил машину, и сразу же после этого обвалилась горящая кровля. Потом два месяца не работал - лечил на руках ожоги от раскаленных металлических труб, за которые ухватился.

Он считался одним из самых искуснейших мастеров своего дела в нашем крае и работу ему привозили издалека. Осенью он на месяц-полтора уезжал

готовить к пуску, или, как тогда говорили, "обеспечивать" винокуренные заводи в округе.

Несмотря на должность глубоко религиозным человеком не был, но все обряды соблюдал. В субботу, конечно, не работал. На винокуренный завод как-то в субботу приехал какой-то акцизный чиновник, осмотрел аппаратуру и заметил где-то течь. Увидел мастера и бодро произнес:

- Эй, пархатый! Немедленно исправь!

Мастер молча подошел, снял с остолбеневшего акцизного форменную фуражку, подставил под капли на глиняный пол, также молча повернулся и ушел. Поднялся скандал. Акцизный требовал наказания. Помещик, которому принадлежал завод, не решился поссориться с мастером и сказал чиновнику, что тот сам во всем виноват и чтобы не лез не в свое дело. Случай этот стал известен по всей губернии и чиновники из него свои выводы сделали. И в отношениях с мастером, да и с другими мастерами стали намного осторожнее.

Детей своих мастер не наказывал сам никогда. Видно боялся покалечить. И только моему будущему комбригу дважды влетало так, что он неделю не показывался на улице.

В противоположность мастеру, его жена тетя Нехама была глубоко религиозным человеком. Маленькая и худенькая, она умирала прорывавшийся, хотя и редко, гнев своего грозного супруга двумя-тремя словами, очень спокойно произнесенными, и я думаю, что если бы не она, мой комбриг не показывался бы на улице месяц.

Летом я стал своим в компании мальчишек моего комбрига. Мать уезжала иногда на несколько дней и я был, практически, в доме один. Вставал засветло, когда пастух гнал стадо, и выводил корову. Потом, если нужно, наносил воды, кормил кур, гусей и поросенка и ждал, когда раздастся зычный клич: "Митя!". Тогда я хватал замки, запирали дом и калитку, прятал ключи в условленном месте, чтобы соседка, с которой мать договорилась, могла загнать и подоить корову (она же ее и утром доила), и шлепал босиком по пыли по самой середине улицы, догоняя компанию, которая обычно ждала где-нибудь неподалеку.

Три раза в неделю я занимался. И тогда, хотя я был самым маленьким, меня ждали. Потом мы обычно бежали на реку, где целый день купались и загорали. Плавать я не умел, но мой командир научил меня способом довольно быстрым и довольно безжалостным. Сначала он дал мне поплескаться на мелководьи, затем схватил и швырнул в глубокое место и прыгнул туда сам. Плавал он превосходно, а я заорал, зашлепал руками и стал тонуть. Он меня вытащил. Воды я наглотался прилично и меня вырвало. На следующий день я мог не пойти на реку. Но я решил лучше утонуть, чем терять такую дружбу. Я опять орал и шлепал руками, но не тонул. А на третий день поплыл!

Вспоминая об этом сейчас, я понимаю, что процедура была весьма рискованной, но в одном я уверен. Один я бы не утонул. Либо он вытащил меня, либо утонул бы вместе со мной.

Когда нам хотелось есть, мы забирались в чужой сад или огород и собирали урожай. Пару раз хозяева нас обнаруживали и тогда мы давали ходу. Я такой гонки не выдерживал. Мой командир сажал меня на спину и со мной на закорках мчался, не отставая от других. А я, надо сказать, тоже был не пушинка.

Когда мать была дома, я со всей компанией гнал лошадь в ночное. Я уже хорошо держался на лошади, да и все мы прилично управлялись с животными. Но лучше всех - мой командир. Хотя лошади у них в хозяйстве не было, он любил этих неизменных друзей и помощников людей, а самое главное - они это понимали. Он прекрасно ездил в седле и без седла, с поводом и без повода, любил возиться с животными и с упряжью.

В 1911 году, когда ему было всего 13 лет, его взяли "мальчиком" на конный завод и мы бегали к нему смотреть, как он работает. Обратил на него внимание и дядька Захар, отставной кавалерист, работавший заводским тренером. Он стал регулярно обучать моего командира кавалерийским приемам и выезде. Усы у дядьки Захара были, по-моему, самыми большими из виденных мною в жизни. Заложив ус в рот, он внимательно следил за действиями своего ученика. И если что-нибудь получалось не так, он выстрелом выплевывал ус и начинал такое "красноречивое" объяснение, что даже мы, привычные к "изысканным" выражениям возчиков, в изнеможении валились на траву.

А я в том году поступил в гимназию. Мать радовалась и тому, что поступил, и тому, что неплохо учился. Последнее целиком можно отнести на счет моей учительницы, подготовившей меня на совесть. Вот брата своего подготовить не смогла. Он просто не захотел, в гимназию не пошел, да и в реальном то учился спустя рукава.

Каждый год мы ждали лета, чтобы чувствовать себя вольными казаками. Но для моего командира детство уже кончалось.

Началась Мировая война. Братство наше распалось. Все работали, я учился. А мой командир сбежал на фронт. Наверное, он был единственным евреем России, сбежавшим воевать "за Веру, Царя и Отечество". Городишко наш был возбужден и обсуждал это событие. Тетя Нехамма плакала и молилась о его спасении. Не знаю, помогла ли ее молитва, но, как мы потом узнали, какой-то офицер, уже в прифронтовой полосе, сдал его полиции, приказал доставить к мамке и всыпать как следует, если будет рыпаться. Из полиции он сбежал, оказался в Харькове и поступил работать на завод. Мать говорила, что пришло письмо, не то от него, не то от его товарища. Я думаю, что от товарища, потому что командир мой любил писанину, как пан самосожжение.

Две революции пронесли над нашим городком почти незаметно. Какая у нас была власть я и сам не припоминаю. И только весной 1918 года над домом

баронессы Пилар фон-Пильхау взвился красный флаг. Там расположился Совет. Немцы до нас не дошли. Мы находились в нейтральной полосе по нашу сторону фронта.

Я не кончил последний класс гимназии. Осенью 1918 года мать простудилась и заболела. Она пыталась работать, не обращая внимания на болезнь. В результате у нее началось тяжелое воспаление легких. В течение зимы ее состояние несколько раз настолько ухудшалось, что казалось уже нет спасения. И только наш самоотверженный Фрумкин возвращал ее с того света. Особенно он боялся весны и чахотки. Весну мы прожили. Я был все время дома, занимался хозяйством, сидел с мамой и иногда уезжал в извоз, чтобы было на что жить. Летом маме стало легче и она решила уехать к сестре, моей тетке, в Смоленск. Да и Фрумкин советовал - там губернская больница, врачи. Мать уехала.

Я остался один, занимался извозом и готовился в следующем году наверстать потерянное и закончить гимназию.

А в округе у нас положение стало осложняться. Появились банды. Распространились слухи, что подходят поляки и устраивают погромы. Евреи волновались. Часть их ушла из города.

Ездить стало трудно, в основном потому что боялись клиенты. Мне пока везло - и клиенты находились и бандиты не трогали. Но в конце лета кончилось мое везение.

Я поехал в Хиславичи, повез туда груз - оцинкованные ведра. Нанял меня купец и поехал вместе со мной. Это верст сорок на запад от нас.

- Не бойся, парень, - сказал он - ведра им пока что не нужны, а денег мы с собой не возьмем.

Доехали мы благополучно, ведра сгрузили. Купец дал мне полтинник на ночлег (за поездку он уже расплатился со мной заранее дома) и это меня смутило. Надо бы сразу уехать, а я решил дать лошади полдня отдохнуть, переночевать и поутру выехать. Нашел знакомого возчика, распряг и оставил у него на дворе лошадь и телегу, а сам пошел бродить по городку. Было беспокойно и я пожалел, что не уехал.

Вечером хозяйка позвала ужинать. Оказалось, что в доме ночуют еще три девочки-гимназистки из Могилева. Как они здесь оказались, я и до сих пор не знаю. Ночью нас разбудила пальба и канонада. Когда мы выскочили во двор, над городком стоял красный отблеск пожаров. По улицам кто-то бежал. Открывать ворота хозяева побоялись. Мы все залезли в подпол и сидели там до утра.

Вылезти оттуда хозяина со мной заставили удары в ворота. Били бревном, видимо подобранным на улице. Мы открыли и во двор ворвались пьяные legionеры. То, что произошло дальше, навечно отложилось в моей памяти и всегда говорит мне, что одуревшее от сознания превосходства в собственных силах пьяное двуногое - уже не человек и подлежит уничтожению.

Прежде всего избивали хозяина и хозяйку. Потом оттащили в сарай и изнасиловали девочек. Одна из них кричала: "Не можно, паны жолнежи! Я

католичка! Я католичка!" Ее избили так, что на ней живого места не было. Когда уводили со двора мою лошадь, я схватил камень и запустил в них. Ни в кого не попал. Но меня привязали к телеге и били, пока я не потерял сознание.

В себя я пришел в горнице. Ухаживали за мной и лежавшим рядом хозяином хозяйка и ее соседка. Девочек унесли в другой дом. Провалился я неделю. Через несколько дней поляков вышибли и я пешком вернулся домой.

Дома я продал всю живность, запер дом и двор. Деньги отослал матери, а сам пошел искать управу на поляков.

В середине сентября 1939 года мы сосредотачивались в районе Лепеля. Было тревожно, явно готовилась боевая операция. Мы только гадали: против кого? Одно было несомненно: мы идем в Польшу.

На душе у меня было спокойно. Таня, ухитрившаяся после родов сдать экзамены за четвертый курс, с полугодовой Наташкой жила у матери в Смоленске. А я командовал эскадронам и был, наверное, самым старым старшим лейтенантом не только в полку, но и во всем корпусе.

Мы ждали приказа, и я мечтал встретиться с тем рыжим гадом со шрамом на скуле, который руководил оравой пьяных легионеров в Хиславичах. Я узнал бы его мгновенно и выяснил бы с ним кое-какие вопросы. Я жаждал встречи с ним еще с 1919-го, когда начал службу в РККА, прибавив в Оршанском горвоенкомате себе два года (по росту и комплекции я вполне сошел за восемнадцатилетнего).

В марте 1920 года я с маршевой ротой был направлен на юг и вскоре уже проходил строевое обучение в запасном кавдивизионе Юго-Западного фронта. Командовал дивизионом бывший гусарский штаб-ротмистр Игнатий Ружецкий. Опытный кавалерист, дело свое он знал хорошо, в дивизионе был настоящий военный порядок. В политических делах он, по-моему, разбирался слабо, но служил достойно. Я и сам тогда слабо разбирался в "красных" и "белых". Меня просто обуревала жажда мщения.

В мае началась война с панями. Ружецкий не отпускал меня на фронт, утверждая, что как наставник я принесу больше пользы. Не знаю, это ли было причиной или он просто догадался, что я прибавил себе годы. Во всяком случае, мне с большим трудом удалось попасть в маршевый эскадрон, отправлявшийся на фронт.

Лошадей из ремонта нам не дали и мы двигались в эшелоне "пешим" порядком. На какой-то маленькой станции, названия я не запомнил, нас высадили, построили и отвели в село. Мы расположились во дворе церкви. Наш командир сказал, что мы попали к "червонцам" (червоно-казачья дивизия). Должен приехать комбриг, нас распределят по частям, дадут коней и будем воевать.

Мы просидели несколько часов. Из-за невысокого штахетника, окружавшего церковный двор, была видна площадь села и дом напротив, у которого стоял часовой. Там, видно, находился штаб.

Наконец на площади появилась целая кавалькада и наш комэск кинулся туда. За ним, обгоняя его, побежал и я. В одном из прискакавших я узнал моего командира. У кого могла быть еще такая черная скирда волос, на которую не натягивался никакой шлем!

Он узнал меня сразу, выпрыгнул из седла, обхватил и приподнял.

- Митя! Митенька! Ты как здесь очутился? Вот это здорово!

Я сказал:

- Попроси комбрига, пусть меня здесь, с тобой оставят.

- А я и есть комбриг! - сказал он, поставил меня на землю и расхохотался.

И понеслось!

Я остался при моем комбриге на положении помощника ординарца, хотя никаким штатом эта должность не была предусмотрена. Просто я был при нем неотлучно. Это вовсе не было синекурой. Мой комбриг не любил наблюдать бой издали. Почти каждое боевое столкновение начиналось или кончалось тем, что мы неслись впереди знамени под залпы и пулеметы или шашки на шашки. И не только комбригова, но и моя сабля оставила след не на одной конфедератке.

Мой командир начал службу в "червонцах" помкомвзводом, когда они были еще только полком, которым командовал Виталий Примаков, организатор и герой-командир червоного казачества. Когда полк развернулся в бригаду, стал комвзводом, сотником, а с образованием дивизии командовал эскадронам. В начале 1920 года был тяжело ранен командир полка и моего командира назначили сначала и.о., а вскоре утвердили командиром полка. Когда я прибыл с пополнением, он исполнял обязанности выбывшего по ранению комбрига. И, хотя сам Примаков и военкомдив наш Евгений Иванович Петровский были с ним в дружеских отношениях и полностью ему доверяли, я сейчас думаю, что бригады тогда для него было много. Он все еще оставался лихим комэском, с натяжкой - командиром полка. Но рос он как командир не по дням, а по часам.

- Малец! - окликнул меня однажды Миша Зюка, наш артиллерийский бог, тоже друг моего комбрига - ходи до меня, дело есть!

В избе у артиллеристов я увидел Левку Бокмана. И хотя я всегда относился к нему, почему-то, немного настороженно, я откровенно обрадовался встрече. Оказалось Левка на год раньше меня попал к "червонцам" и служил в артиллерийском снабжении. Сидел он какой-то бледный и нахохлившийся, как воробей. Я не успел его ни о чем спросить, как меня на двор позвал Зюка. Говорил Зюка на смеси украинского, белорусского и русского, да еще вставлял словечко на идиш.

- Слухай, малец! - сказал он - Я, натурально, позвал тебя сюда, чтобы нас в избе не слышали. Этот штинкер говорит, что мается брюхом. Может и так, да я не

верю! Твой комбриг проявляет об нем заботу. Вот я и направляю этого холоймеса к вам в бригаду, пусть решает! А мою молву передашь ему слово в слово!

Я так и сделал.

Мой комбриг посадил Левку на стул и ходил вокруг него кругами.

- Левка! Я тебе верю! - сказал он - Но и ты меня пойми! Я - большевик с шестнадцатого года. В прошлом году тебя рекомендовал в партию. Нам сзади, нам в тыл нельзя! Ежели у тебя просто понос или какой-нибудь там запор, иди в лазарет к лектому. Он тебе облаток пропишет. Если что серьезное - надо в тыл, в госпиталь. Представляешь, вдруг перед наступлением выяснится, что ничего у тебя нет и просто со страху приключилась медвежья болезнь?! Пусть я тогда под трибунал пойду, но тебя сам лично пуцу в расход! Уразумел?

Левка попытался улыбнуться и, как-то со стоном, пробормотал:

- Чего я тебе скажу, - болит! Ни есть, ни ходить не могу!

- Все! Езжай в госпиталь! - сказал мой комбриг - Если тебя оттуда выпустят, доложишь мне лично!

Через два дня Левка вернулся и привез бумагу, в которой говорилось, что у него обострение язвенной болезни. В госпитале его, по какой-то там причине, лечить не могли и рекомендовали предоставить отпуск для стационарного лечения и поправки. Мой комбриг приказал выписать Левке нужные документы.

Назавтра Левка пришел прощаться. Этот день ничто и никогда не вытравит из моей памяти.

На рассвете следующего дня мы должны были идти в знаменитый Проскуровский рейд. Шли не все, отбирали самых лучших. К вечеру должен был прибыть выздоровевший комбриг, а мой командир возвращался в полк. Мы шли в голове прорыва и мой командир решил допросить пленных, чтобы выяснить обстановку в польском тылу. Их, человек пятьдесят, как раз гнали через деревню.

Сначала в горницу вошел Левка и протянул для подписи свои бумаги. Мой командир подписал и отдал ему. Потом прискакал вестовой и сказал, что начдив Примаков и командарм XIV Уборевич находятся на шляху за селом и моему командиру нужно срочно скакать к ним.

- Митя! - крикнул он - штабной взвод по коням!

Я кубарем скатился с крыльца и через пару минут штабной взвод верхами стоял у палисадника, а я держал повод комбригова коня и ждал, пока он выйдет.

Вместе с комбригом на крыльцо вышли наштабриг Данила Самусь, Левка и еще два-три человека. Комбриг вскочил в седло и в это момент заметил среди пленного офицера.

- Вот этого приведите ко мне! Я сейчас вернусь! - крикнул он, показал рукой на офицера и подъехал к нему на коне.

Офицера плохо обыскали, а скорее всего совсем не обыскивали: сдался и сдался. А у него оказался дамский браунинг. Он его выхватил и выстрелил комбригу прямо в лицо. Комбриг упал головой на холку коня и стал медленно

сползать с седла. Выстрелить второй раз офицер не сумел. стоявший рядом жолнер ударил его по руке.

Сверкнули шашки, в две секунды штабной взвод врезался в пленных и сбил их в кучу, а я успел соскочить с седла, подхватить командира и осторожно опустить его на землю.

- Отставить! Шашки в ножны! - зычным голосом гаркнул Самусь и тем предотвратил быструю расправу.

- Пленных не бьют, в бою отомстим! - уже более спокойно добавил он.

Погиб только офицер. Взводный разрубил его шашкой от плеча до пояса.

Нас с командиром окружили. Кто-то крикнул: "Наповал!". Но я видел, что мой комбриг жив. Лицо его было - сплошная рана. Все же он пришел в сознание, открыл глаза и, сплевывая сгустки крови, пытался что-то сказать. Язык ему не подчинился. Наконец, повернувшись на живот, он пробормотал:

-Да живой я! Живой! - и снова потерял сознание.

Меня обуяла какая-то холодная ярость. Когда на следующий день утром мы брали Черный Остров, я помню, что я видел перед собой только бежавших жолнеров и, не останавливаясь работал саблей. Потом я вдруг наткнулся на какое-то белое облако и провалился в темноту.

После госпиталя мне дали месячный отпуск. Я знал, что мать вернулась из Смоленска домой и поехал туда. Добрался удивительно быстро. Показывал документы из госпиталя и красноармейцы пускали меня в теплушку. С попутными эшелонами доехал до Орши, а потом до нашей маленькой станции.

За станцией расположилась кавалерийская команда - несколько бойцов с лошадьми. С другой стороны - возчики с телегами. Я пошел к ним договариваться, чтобы подвезли. До Мстиславля как-никак двенадцать верст.

И тут знакомый голос окликнул меня: "Митя!". Я обернулся и узнал своего командира. Через секунду мы обнимали друг друга.

Вообще-то произошло чудо. Увидев браунинг в руке офицера, мой комбриг резко повернул голову. Пуля попала сбоку, пробила обе щеки и вышибла восемь зубов. Как выяснилось позже в госпитале, тяжелее ранения оказалась контузия. После госпиталя комбриг тоже получил месячный отпуск. По дороге его перехватил губвоенком и предложил, взяв готовых к выписке двадцать пять бойцов из команды выздоравливающих, почистить уезд от бандитов и дезертиров, мелкими шайками орудовавших вокруг города.

Я, получив коня и оружие, был зачислен в отряд. Через полчаса мы на рысях шли к Мстиславлю. Он уже шесть лет не был дома, я - почти год. Городишко наш, приткнувшийся к излучине реки и утопавший в зелени, вызвал у меня в душе целую бурю и, чтобы не зареветь, я сжал зубы и припал к холке коня. То же самое творилось, по-моему, и в душе моего командира, даже в еще большей степени. Я в жизни не видал у него слез, а сейчас они текли по его щекам и он даже не пытался скрыть их.

Мы проехали Гору и шагом двигались по улице к костелу. На крыльце дома моего командира стояли несколько женщин и смотрели в нашу сторону. В одной из них мы узнали тетю Нехаму. Вдруг она издала дикий, истошный крик и забилась в руках у соседок. В этот момент мы уже карьером подлетали к крыльцу. Командир мой в один миг спешился, поднял мать на руки и прижал ее к себе. Она была как в беспамятстве, из уха у нее текла кровь.

- Авромке! Авромке! Лейбст..., ду лейбст! - шептала она (Живой..., ты живой?!)

Кто-то обхватил мое колено и прижался к нему. Это моя мама, прибежавшая на крик, издали узнала меня и кинулась ко мне. Я слез с седла, а она гладила меня и горько плакала.

А мой командир никак не мог успокоить мать. Позвали Фрумкина. Он сказал, что дела неважные. От страшного вскрика у тети Нехамы лопнула барабанная перепонка.

Случилось вот что.

Левка Бокман, о существовании которого я, когда на моих глазах ранили комбрига, вообще забыл, увидев, что комбриг сползает с коня и услышав выкрик: "наповал!", решил немедленно уехать. Испугался, что могут совсем не отпустить. Пока все были заняты комбригом, он кинулся к уже заложенной повозке и, так ничего и не узнав, уехал домой.

Приехав в Мстиславль, Левка сообщил родителям моего комбрига о его гибели, пересказав весь эпизод, как очевидец. Старики с горя поседели, стали совсем белые, особенно мастер, у которого, когда я уходил в Красную Армию, и седых волос-то не было видно. Они в душе похоронили сына, привыкли к мысли о его гибели. И вдруг он, подтянутый и бравый краском, на коне, живой и здоровый, подъезжает к крыльцу. Тетя Нехама сказала, что узнав сына она чуть не лишилась рассудка. И еще она сказала, что ее услышал Бог, и что теперь она может отомолить любые грехи. А командир мой был самым тяжелым грешником - он был неверующим и не соблюдал никаких обрядов.

В пятьдесят восьмом ко мне пришли младший брат и племянник моего комбрига за характеристикой для его реабилитации (Моему комбригу так и не успели придумать обвинения и осудить. Он будет реабилитирован, как погибший в застенке. Но этого тогда никто не знал). Давать настоящие, положительные, характеристики на погибших "врагов народа" тогда соглашались не все. Народ боялся. Я написал все, что надо, заверил в райкоме и отдал. Брат сказал мне, что пойдут за характеристикой к Левке Бокману, ставшему какой-то важной шишкой.

- Не даст! - сказал я.

- Он обещал! - возразил брат.

- Не даст! - повторил я - Он его уже один раз продал! И еще раз продаст! Дерьмо он, зазря к нему пойдете...

Брат не верил, а племянник с интересом следил за развитием нашего диалога. Через несколько дней племянник позвонил.

- Вы оказались правы, Дмитрий Алексеевич! Не дал! Сказал, что рад бы всей душой, да жена возражает. А он - послушный муж!

О том, что мастер, отец моего комбрига умер от рака в двадцать седьмом, я знал давно. Сейчас узнал и про тетю Нехаму. Последние годы жизни она жила в Средней Азии у дочери, моей бывшей учительницы. Оставалась глубоко религиозным человеком и отмаливала грехи. А их было, по ее мнению, много. Во-первых, старшего внука в грудном возрасте, оправдав себя словами: "Зачем же дитю пропадать?", крестила в православной церкви старушка-домработница. Ее, конечно, тотчас же уволили. "Тягостную" весть от бабки постарались скрыть, но она как-то узнала. Во-вторых, младший сын женился на русской - тоже не кишмиш! Но самое главное - она просила Бога, чтобы дал ей еще одну возможность обнять своего Авромку и чтобы позволил пережить Гитлера. Гитлера она пережила - умерла сразу после войны. А вот сына - не дождалась...

- Как ты думаешь, может он жив? - спросил меня брат.

- Вряд ли - ответил я, напрягая все свои душевные силы, - скорее всего погиб!

Никому, даже Тане, я никогда не говорил о том ужасе, который пережил в переходе тюремного коридора на Лубянке.

Проводы наши из дому на фронт были тяжелыми. Даже сейчас трудно о них вспоминать. Что касается бандитов, то мы покончили с ними быстро, буквально в две недели. А самого гнусного из них, творившего со своей шайкой наиболее подлые "подвиги", мой командир лично гнал арапником через несколько сел по дороге в Мстиславль, в трибунал. На конный завод мы вернули все награбленное там племенное поголовье, за что исполком наградил моего командира прекрасным жеребцом-пятiletком по кличке "Кушак". Идею подал дядька Захар, никак не наradoвавшийся на своего ученика. До конца боев, а их впереди было еще много, командир мой воевал на Кушаке.

В начале октября 1920 года мы с эшелоном прибыли на станцию Анастасьевка под Никоподем. Мой командир, хотя и мог ехать в купейном вагоне, прицепленном к составу, предпочел весь путь провести в теплушке, где ехали я с коноводом и нашими лошадьми. Мы прибыли с пополнением. Он был назначен командиром одного из полков 21-й кавдивизии, а я - его ординарцем.

В селе Томаковка начдив 21-й Михаил Лысенко, коренастый, плотный, усы вразлет, папаха набекрень, три раза обошел вокруг Кушака, поцокал и сказал:

- Наградили, говоришь?

Мой командир улыбнулся и качнул головой.

- Добре наградили! Ну, езжай в полк. Положению ты теперь знаешь, жди приказаний!

Мы поскакали, прихватив с собой бойцов шестьдесят из пополнения.

Ох и злые это были бои сначала на правом, а потом на левом берегу Днепра! В бою у станции Ток к моему командиру подскакали два всадника. Один был комбриг Особой Семен Урицкий, другой - член РВС II-й Конной Дмитрий Полуян. Полуян сказал:

- Врангель хочет сорвать нам мир с Польшей! Не дадим!

И мы не дали!

Сначала оттеснили барона с правого берега. Здесь нам сильно помог левобережный Каховский плацдарм. Кавалерии на нем, правда, не было, но зато были артиллеристы! Кто из нас не слышал тогда про начдива 51-й Василия Блюхера и командира легартидива Леонида Говорова, отбившего своими пушками атаку танков. На левом берегу наш комфронта Михаил Васильевич Фрунзе хотел отрезать Врангеля от Крыма. Жаль, не вышло! Прорвался барон, ушел через Арабатскую стрелку и Чонгар и засел в Крыму в укреплениях. Нам предстояло выкурить его оттуда.

Днем 9 ноября мы стояли в Строгоновке на берегу Гнилого моря - Сиваша. На жидкую ледяную грязь, оставшуюся после отступивших под напором ветра вод Сиваша, холодно и страшно было смотреть. Но там, по другую сторону, на Литовском полуострове сражалась наша пехота, заставившая Кутепова оставить Перекоп и отойти к Юшуньским укреплениям. Она истекала кровью, а ветер переменялся и гнал сивашские воды обратно. Нам надо было срочно туда - за Сиваш!

Мой командир опять исполнял обязанности комбрига уже больше полмесяца. На этот раз должность была ему по плечу! Это сказало в тяжелом бою под Рождественским, где нас не поддержали стрелковые бригады 30-й Иркутской дивизии. Они могли, но не пришли к нам на помощь. Противник сумел вырваться. Наша бригада нанесла ему тяжелый урон при минимальных потерях со своей стороны. Да и в других боях бригада действовала отлично.

В последнем переходе мой комбриг заболел. В ночевке под Строгоновкой у него была высокая температура, он всю ночь метался в жару. Правую щеку и челюсть в месте ранения у него разнесло. Наш лекпом давал какие-то пилюли, клал на голову лед. К утру полегчало, комбриг с трудом встал и дальше весь день был на ногах, готовя бригаду к броску через Сиваш. И когда к ночи поступил приказ, Кушак первым, без колебаний, ступил в ледяную жижу залива.

Сбиться с маршрута было невозможно. Вдоль всего брода, держа на плечах провод, стояли бойцы роты связи 15-й стрелковой дивизии. Жижа доходила коням по брюхо, а связистам выше пояса. Но такая уж это проклятая сивашская жижа, что если провод опускался в нее - пропадала связь. Во время нашей переправы связистов сменяла кабельно-шестовая рота. Провод подвесили на шестах, заледеневших красноармейцев отправляли в госпиталь. Уже потом я узнал, что все они, двести человек, погибли от переохлаждения организма. А связь, от которой зависел исход сражения за Крым, обеспечили!

Казалось этой переправе не будет конца. Мы сами обледенели. Мой комбриг, у которого снова поднялась температура, еле держался в седле и иногда подзывал меня, чтобы опереться и передохнуть. В ночной темноте и предрассветных сумерках я видел все время его спину, вернее бурку, покачивавшуюся в такт хода коня. Когда он терял силы и начинал сползать с седла, я нагонял и поддерживал его. Потом снова ехал сзади. А справа от нас замерзавшими столбами стояли уже безразличные к вопросам жизни и смерти связисты.

Эту картину я тоже помню всю жизнь.

В пятьдесят седьмом году меня восстановили в звании и вернули партбилет. Нам с Таней и Наташкой дали маленькую двухкомнатную квартирку в Москве. Мы переселились в нее из Рязани, где снимали какую-то ветхую лачугу. А потом позвонили из военкомата и сказали, чтобы я получил неправильно отобранные у меня награды. Я поехал. В автобусе и метро вспоминал все, что было с того дня, как меня арестовали в сорок девятом, и до того, когда выпустили из лагеря в пятьдесят четвертом, не разрешив жить нигде, кроме Казахстана. Как бросив все, с Наташкой примчалась ко мне Таня, как я с ее помощью, со ступеньки на ступеньку выбирался из черного омута, в который отправила меня судьба, становился человеком и гражданином.

Горвоенком, генерал-артиллерист, жал мне руку, сказал, что не извиняется, потому что случившемуся нет прощения...

А я видел в холодной рассветной мгле качавшегося в забвении моего комбрига и стоя умиравших в ледяной воде связистов.

На крымском берегу мой комбриг уже не поднялся. Пожилой санитар и медсестра закутали его в бурку и на лодке повезли на тот берег в госпиталь. Он был в тяжелом жару и никого не узнавал.

А в бой нас повел комиссар. Мы спешили навстречу белой коннице, сбившей фронт латышей и дивизии Блюхера. С нами вместе шли полтора тачанок махновской бригады со спаренными пулеметами. Мне наши временные союзники сильно напоминали легионеров в Хиславичах. Воевать они не хотели, от выполнения боевых приказов отлынивали. Никто не хотел их брать. Наш командарм Филипп Кузьмич Миронов взял, сказав:

- Ничего! У меня повоюют!

И приголубил махновского командира Каретника таким взглядом, что тот пригнулся.

У Карповой Балки мы вышли во фланг коннице генерала Барбовича. Филипп Кузьмич прикрыл тачанки всадниками и повел атаку. Белые в ответ перестроились и пошли на нас встречной лавой. Когда между двумя лавами оставалось не больше полверсты, мы расступились и триста пулеметов за четверть часа похоронили надежды Врангеля сбросить нас в море и уничтожить. У станции

Курман-Кемельчи в последнем тяжелом бою мы сбили врага, и скоро все было кончено.

Крым наш!

Повсюду шло ликование!

Я попросил разрешения вернуться назад и разыскать комбрига. Мне разрешили. Взяв Кушака, которого я, несмотря на множество поползновений, никому не передал (в этом меня полностью поддержал комиссар), я отправился в наши тылы.

Комбрига нашел в передвижном госпитале в Ново-Алексеевке. Он похудел и почернел, ходил еще плохо, но дело шло на поправку. Ему сделали операцию на челюсти, вычистив остатки кости, вызвавшей нагноение. Так что говорил он еще невнятно. Мне и Кушаку обрадовался чрезвычайно. Положа руку на сердце, я и сейчас не знаю, кому больше.

Через три дня он сказал, что недели госпиталя для него вполне достаточно и мы, сокрушив все врачебные преграды, выехали обратно в дивизию.

За штурм Крыма многих из нас наградили. Командарм Миронов вручил моему комбригу именной парабеллум с надписью "За храбрость" на серебрянной пластинке.

Вскоре началась демобилизация. Нашу бригаду свернули в полк, вывели в Северную Таврию и слили с другим полком. Командиром остался мой командир. Потом нас погрузили в эшелон и мы двинулись в далекий путь - в Сибирь. Там война еще не кончилась и ее нужно было кончать.

Монгольские степи встретили нас крепким ветром. Мы сразу включились в боевые действия, на ходу усваивая что такое "арат", "цирик", "Богдо-Геген". Власть во Внешней Монголии, опираясь на часть феодалов, белоэмигрантов и Даурских казаков, попытался захватить бывший штабс-капитан барон Унгерн. Он быстро присвоил себе чины сначала полковника, а потом генерала. И почему это так происходит, что если дурак дорвется до власти, он всегда навешивает на себя звания и ордена, никогда им не заслуженные и ему не принадлежащие?

Выступившая против Унгерна коалиция заставила правителя Монголии Богдо-Гегена обратиться к Советской республике с просьбой помочь избавиться от бесчинствовавших в стране отрядов черного барона.

Против Унгерна были двинуты отряды партизанской армии Петра Щетинкина и некоторые регулярные части. В том числе и наша Алтайская кавдивизия. Через несколько дней нашу дивизию, имевшую большой некомплект по численности, свернули в отдельную Алтайскую кавбригаду, а комбригом стал мой командир. Мы действовали на правом фланге нашей группировки, отсекая барона от Китая. А с левого фланга навстречу нам рвалась, замыкая окружение, Бурят-Монгольская кавбригада Константина Рокоссовского. Рядом с нами все время воевали монгольские цирики. Мы им завидовали. Они все были в овчиных полушубках, а мы в своих шинелях мерзли на ветру, как собаки.

В начале марта в юрту, где спали мы с комбригом, ворвался командир штабного взвода.

- Товарищ комбриг! - заорал он - Монголы полушубки везут! Видимо-невидимо! На верблюдах и арбах!

Комбриг уже сидел на своей койке.

- Куда? - спросил он.

- Непонятно, вроде в Ургу. Чего-то лопочут, а нам не дают!

- Конфисковать надо на нужды армии! И расписку выдать!

- Мы и хотим. Комиссар не дает!

Через несколько секунд комбриг оделся и выскочил из юрты. Застучали копыта.

Минут через десять и я скакал вслед за ними. Уже взошло солнце и было не так холодно. За стойбищем стоял большой караван. Около него сбились в кучу монголы из каравана и два десятка наших бойцов. Поодаль, не вмешиваясь в спор, гарцевали на своих мохнатых лошаденках цирики. Посреди толпы стоял, положив руку на холку Кушака, мой комбриг, а напротив него в гимнастерке, без шинели, строгий и подтянутый, стоял недавно прибывший к нам военкомбриг Иван Щербатых. Когда я примчался, разговор "по душам" уже, видно, заканчивался.

- Смотри, Ванька, допрыгаешься! - сказал комбриг.

- А ты не пужай, я не из пугливых! - ответил комиссар, нарочно коверкая слова - Но грабить аратов я не дам!

Мой комбриг не любил, когда ему становились поперек дороги. На щеках у него заходили желваки. Он резко повернулся, вскочил на Кушака и помчался. Я нагнал его около стойбища и спросил:

- Чего делать будем? Вот засранец, он ведь не намерзся!

Комбриг пустил Кушака шагом и выдавил:

- Да прав комиссар, прав! Надо послать с ними отряд и договориться с ихними властями, чтоб продали.

В этот момент нас догнал штабной комвзвод, приложил руку с нагайкой к суконному шлему и доложил:

- Товарищ комбриг! Вас обратно просят. Там ктой-то из ихова начальства приехал!

Мы поскакали обратно.

На стоянке, кроме всех, кто там был раньше, находился только что прибывший отряд цириков. Начальником был высокий, аскетического вида монгол. Говорил он тихо, приказания его исполнялись мгновенно. Он сошел с лошади и пошел навстречу комбригу, тоже спешившемуся, обменялся рукопожатием. Потом что-то сказал. Толмач перевел:

- Эти полушубки везли вам. Возьми их!

- А сколько за них платить? - спросил комиссар.

- Платить не надо. Это наш подарок Красной Армии! - ответил монгол.

Он повернулся и пошел к своему коню. Тем временем караванчики выложили весь груз на траву, вскочили на своих верблюдов и присоединились к отряду цириков. Наш комиссар кинулся к главному, который был уже верхом.

- Зовут-то тебя как? Ты скажи, на кого сослаться? - крикнул он.

- Меня зовут Сухе-Батор! - сказал монгол по-русски и поскакал со своим отрядом.

Отношения командира с комиссаром так и не стали теплыми за все время совместной службы. Правда, продолжалась она не долго. Барона вскоре разбили и взяли в плен, а комбриг мой был направлен на учебу в Петроград на Высшие кавкурсы. На этом закончилась и моя первая служба в Красной Армии. Я демобилизовался и мы поехали вместе. Мой командир - в Питер, а я - в Смоленск к матери.

В 1958-м к генерал-лейтенанту в отставке Ивану Алексеевичу Щербатых пришли родичи моего комбрига. На разведку послали племянника. Генерал, хотя раньше молодого человека ни разу не видел, сразу узнал его по, как он сказал, "фамильному облику".

- За характеристикой пришел для реабилитации? - спросил он. И, получив утвердительный ответ, добавил:

- Завтра придешь, все приготовлю!

И, действительно, назавтра дал родным характеристику, в которой ручался за своего бывшего командира всем своим сорокалетним партийным стажем.

В Смоленск я так и не попал тогда. В дороге заболел брюшником и оказался в тифозном бараке Самарского лазарета. О том, что мой командир вынес меня на руках из вагона и уложил на носилки на платформе, я еще смутно помнил. А о том, что он, отстав от поезда, довез меня до лазарета, разыскал начальника и "доверительно" с ним побеседовал, я узнал только выписавшись и получив в целости и сохранности все свое немудреное имущество.

А путь мой до Смоленска оказался долгим. Только в феврале 1941-го я сошел с поезда на станции "Смоленск". Тяжело заболела мама. Она часто приезжала к нам с Таней в Москву, нянчила Наташку, но насовсем переехать к нам не захотела. В последние два предвоенных года часть, в которой я служил, часто меняла дислокацию и судьба носила меня по многим местам. Таня оставалась в Москве, кончила медицинский. Мать подолгу жила у нас, а летом они все уезжали в Смоленск или в Мстиславль.

В феврале 1941-го, получив телеграмму о тяжелой болезни мамы, я оформил десятидневный отпуск и выехал в Смоленск. Там же были и Таня с Наташей.

Мама умирала. Четыре дня я просидел у ее постели. Перед смертью она очнулась и около часа была в полном сознании.

- Скоро я увижу его. Вот хорошо! - тихо сказала мать.

- Кого? - не понял я.

- Олексу - сказала мама, улыбнулась и через несколько минут умерла.

И тут только до меня дошло, что мать, несмотря на то, что на двадцать с лишним лет была моложе отца, беззаветно любила его всю жизнь.

Я нанял машину и перевез гроб с телом матери в Мстиславль. Таня с Наташкой приехали туда поездом. Мы похоронили маму рядом с отцом. Над их могилой стояла березка, посаженная матерью.

Так сложилось, что в Самаре я прожил несколько лет. Работал сначала в какой-то геологической экспедиции, а потом на заводе. Стал подручным горнового у вагранки.

В 1927-м я получил письмо от своего командира. Он писал, что окончил командный факультет военной Академии РККА им. Фрунзе и готовится к заключительным маневрам. Потом писем полтора года не было. Новое письмо пришло в 29-м из Томска. Мой комбриг писал, что получил "новую, интересную, но не вполне военную" работу и звал меня к себе.

Я поехал в Томск.

Мой комбриг был назначен начальником Транспортного управления Кузнецкстроя. Транспорт был исключительно гужевым, наладить его было трудно, Потому, видно, и решили назначить руководителем кадрового военного, кавалериста.

Замелькали в моей биографии города Кольчугино, Прокопьевск, Кузнецк, Гурьев, Салаир, шахты, поселки... Я познакомился с руководителем всего дела Семеном Франкфуртом и еще с одним молодым человеком, которого мой комбриг охарактеризовал словами: "Голова! Академик!". Он и вправду стал потом академиком. Это был технорук стройки Иван Павлович Бардин. Эти двое и мой комбриг и были штабом всего строительства. Я помню освещенную двумя керосиновыми лампами палатку под Кольчугиным, где после по горло забитого делами дня, они десятки раз сидели ночь напролет, решая, всплывавшие одна за другой, трудные проблемы.

Однажды мы с комбригом ехали верхом на карьер под Гурьевском. Подъехали, видим - паника. Оказывается несколько минут назад технорук оступился и сорвался в карьер. На дно он не упал, а то бы непременно разбился насмерть. На самом краю крутого склона, у отвесной стенки, он зацепился курткой за корень и лежал, почти висел над пропастью, не шевелясь. Боялся, что что-нибудь не выдержит - или куртка, или корень. Все остальные бегали наверху и бестолково орали.

- Веревку! Веревку давай! - гаркнул мой комбриг, как в лавовой атаке.

- Ежели б была, сами бы кинули! - отозвался кто-то.

- Сбрую! Быстро! - повернулся ко мне комбриг.

А я уже бежал к своему коню. В седельном подсумке у меня был аркан. Не прошла даром монгольская наука!

Когда я прибежал с арканом, мой командир снял ремень с именовым парабеллумом, с которым никогда не расставался, и понял руки.

- Вяжи, только крепче! - сказал он.

- Ты зазря, начальник, сам туды лезешь - сказал местный мужик - веревку надо кинуть, он и захватится.

Мой комбриг поглядел на него и тот стушевался.

- Может и вправду, кинем аркан? - спросил я.

- А если он не может? - сказал мой командир.

Больше я не спрашивал. Мы подошли к обрыву. Мой комбриг спустился шагах в семи-восьми в стороне от Бардина и по самому краю обрыва подошел к нему. Потом взял его в охапку и крикнул, чтобы тащили. Пока у другого конца аркана был я один. Все еще чего-то обсуждали и подходить ко мне не спешили. Я решил, что лучше сломаюсь пополам, чем отступлю хоть на шаг. Потом почувствовал, что тянуть стало легче. Подбежал мужик, советовавший кинуть веревку. Присоединились еще несколько человек и мы вытащили обоих.

Бардин здорово побился, повредил руку и лицо. Его отвезли в больницу. Скоро туда приехал Франкфурт и они опять сидели в палате до утра. Бардин сказал:

- Ребята! Вам тут через полвека памятники поставят, вот увидите!

- А тебе? - спросил Франкфурт.

- Моих тут десять процентов, остальное - ваше!

- Ну, раз пошли языками молотъ, значит работа кончилась - сказал мой комбриг - Пошли, Семен! Ваньке еще малость подлечиться надо. А памятники всем будут. Над могилами, если их найдут!

Прав оказался мой комбриг. Могилы его и Семена Франкфурта еще не нашли, чтобы поставить на них памятники. Везде написано, что Кузнецкстрой создавал Бардин. Брат моего комбрига сказал, что они хотели обратиться к академику за характеристикой, но не пошли. Секретарю Бардина звонили родственники Франкфурта. Секретарь ответил, что Иван Павлович забыл всех, кого знал до 37-го.

Летом 30-го к моему комбригу приехал племянник Лелька, сын его двоюродной сестры. Ему было шестнадцать лет, был он отчаянным сорвиголовой и мой комбриг был для него единственным авторитетом. И в отношении физической силы тоже, т. к. Лелька был здоров, как бугай и никого, кроме дяди не боялся.

Ну и намытарился же с ним мой командир!

В откалывании номеров Лелька проявлял дьявольскую изобретательность. Доставалось многим. Попытался он как-то задеть и меня. Но я просунул его

голову в его же колени и зажал. Потом отпустил. Больше Лелька меня не задевал и держался в стороне. Тем более, что я соблюдал по отношению к нему строгий нейтралитет. Но я не буду вспоминать о Лелькиных проделках. Был в моей жизни момент, когда я поклялся, что буду помнить о Лельке только хорошее. Вот и держусь этого. Но о переломном случае кратко расскажу.

Лелька устроил очередную каверзу, в результате которой на него кинулся бригадир, здоровенный мужик. Лелька на глазах у всех примерно его избил.

Вечером приехал мой комбриг. Не говоря ни слова взял плеть, схватил Лельку за шиворот и утащил из палатки в степь. "Беседовали" они часа три. Потом командир мой пришел мрачный, как туча, разделся и завалился спать. Вернее делал вид, что спит.

Я часа два подождал и, прихватив полкаравая хлеба и кусок вареной козлятины, пошел искать Лельку. Нашел я его быстро. Он лежал в траве на пузе и сопел. Говорить он со мной не пожелал, но хлеб с мясом съел. Я тоже пошел спать.

С этого дня Лелька стал меняться прямо на глазах и выправился. Когда через полтора года его призвали в РККА, можно было надеяться, что служба у него пойдет хорошо.

В июле 41-го мы выходили из окружения. Я был уже капитаном начальником штаба кавполка. В огне и дыму горящих городов и деревень, в тяжелых и безнадежных боях, когда нехватало оружия, боеприпасов и снаряжения, мы непрерывно, от самой госграницы отходили. От полка уже ничего не осталось, командир погиб. Я сколотил группу в пятьдесят бойцов из разных частей и вместе с ней вышел к развивавшим в районе Смоленска контрудар войскам 16-й Армии генерала Михаила Федоровича Лукина. Меня назначили командиром группы, в которую влили мой отряд, дали участок обороны на северной окраине города и приказали стоять насмерть. Обещали прислать танки.

Моя группа именовалась полком, хотя батальоны насчитывали чуть меньше полной роты, плюс батарея сорокопяток, взвод разведки и несколько бойцов комендантского взвода. Мы стояли по обе стороны Оршанского тракта, упираясь левым флангом, метров в восьмистах от выселок, в несколько разрушенных, одно-двухэтажных домиков предместья, а с правого фланга у нас был глубокий овраг с росшим вдоль него лесом и старым кладбищем.

Я решил выдвинуть вперед один из батальонов и создать первую линию обороны метров пятьсот-шестьсот западнее оврага и у выселок. Воспользовавшись несколькими часами передышки, приказал отрыть ячейки в полный рост, стготовить обед и запасти во все емкости воды. Одну сорокопятку выдвинул к выселкам и ждал танкистов, чтобы договориться с ними и расположить их в рощице перед оврагом.

Всю ночь в городе и справа от нас шел бой. А у нас было тихо. Мы пообедили впервые за месяц нормально и бойцы, кроме боевого охранения,

отдыхали. Даром такое на войне не бывает и мы чувствовали, что завтра нам за это будет расчет.

В два ночи пришли три БТ. Я ждал командира. В подошедшем старшем лейтенанте узнал Лельку. Мы обнялись. Лелька возмужал. Он был уже опытным командиром, окончил танковое училище, участвовал в Финской войне. Перед самой Финской женился, показал мне фотографию жены. Приятная девочка. Я тоже рассказал про Таню и Наташку. Об остальном мы промолчали, да и некогда было.

Я объяснил Лельке свой план. Он не сразу ответил.

- А сманеврировать-то мне как? Рощицу сожгут, а через овраг не отойти?!

- Как туда, так и обратно, - ответил я - В обход оврага. Там в лесу вдоль болота есть дорога. Соседа предупредим. В случае чего и ему поможешь!

Лелька кивнул. Я дал проводника и танки ушли.

Следующие два дня мы расплачивались за нечаянный отдых. На рассвете немцы начали артподготовку, очень короткую. Потом пошли в атаку при поддержке двух танков. Один танк подбили у самых окопов наши бронебойщики. Видно было, как из него вылез и удрал экипаж. Уничтожить его не сумели. Второй танк прорвался в тыл нашей первой линии, раздавил пушку и, несмотря на то, что по нему палили обе наши оставшиеся пушки, промчался зигзагом вдоль линии окопов, поливая их из пулемета. Он дошел до роши, развернулся и тут встал, вспыхнул и сгорел со всем экипажем. Это его, не выходя из роши, подбил Лелька.

Все огромное хлебное поле перед нами горело, окуталось дымом. Прямо из дыма вырастали немцы, что-то горланили и шли в атаку. Доходя до хорошо пристрелянной нами полосы, падали и отползали. Не думаю, что они несли сколько-нибудь серьезные потери. Нас просто проверяли на вшивость. Может испугаемся и так отойдем.

Но мы стояли.

Тогда немцы подбросили еще четыре танка, которые внезапно выросли из дыма. На этот раз нашей первой линии пришлось плохо. Ее прорвали в нескольких местах. Однако развить успех немцам не удалось. Наша танковая засада ударила им во фланг и подбила три танка, два из них сгорели. Один подбили наши сорокопятки, экипаж мы взяли в плен и отправили в штаб дивизии.

Немцев снова отбросили и они прекратили атаки.

Я знал, что теперь будет и отвел уцелевших бойцов первой линии. Лельке послал записку, чтобы уходил из роши. Немцы из-за дыма этих маневров не заметили. Когда повисла рама, наши танки были уже в лесу.

Немцы обрушили на наши позиции и рощу шквал артиллерийского огня. Правда больше доставалось первой линии, где никого не было. Но нам тоже перепало. Потом над нами закружили "юнкерсы". Первая волна, вторая, третья... . Потери мы несли ощутимые. Обе наши пушки были разбиты.

Этот ад продолжался часа полтора.

После третьей волны "юнкеров" я приказал вновь занять первую линию, использовать наши оставшиеся окопы и воронки, двинул туда три станковых и два ручных пулемета и два бронебойных расчета. Одну роту (только название, численность - меньше взвода), комендантских бойцов, станковый, ручной пулеметы и один бронебойный расчет оставил у себя в качестве резерва.

Почти одновременно с нашим выдвижением к первой линии, пошли в атаку немцы. На этот раз они не играли, а рвались вперед, как осатаневшие. Я дважды просил комдива помочь мне, но у него у самого ничего не было. День уже клонился к вечеру, когда немцы снова ввели четыре танка.

Я думал, что нам каюк. Пушек у нас не было. Лелька не отзывался, Но он, оказывается, преодолевал завал, потом незаметно спрятался у сожженной рощи и в самый нужный момент стукнул немцам во фланг.

Мы выстояли!

Уже совсем стемнело, когда мы услышали с тылу конский топот и увидели приближавшуюся кавалькаду. Это были командарм генерал Лукин и комдив с офицерами. На машине проехать было невозможно и они использовали лошадей. Лукин соскочил с коня и закричал:

- Где танкисты? Где их командир?

Лелька вышел вперед. Лукин посмотрел на него, потом шагнул к нему и обнял.

- Так стоять, парень! - сказал он и голос у него дрогнул - так стоять! И у немца маком что получится!

Комдив представил меня. Генерал молча снял с себя орден "Красного Знамени" и привинтил мне на обгоревшую гимнастерку, тряхнул двумя руками мою руку и сказал:

- Благодарю!

- Служу Советскому Союзу! - вытянулся я.

- Служи! - генерал обернулся к окружавшим нас бойцам - Мы здесь не в окружении. Мы сражаемся за Москву. И чем тверже будем стоять, тем меньше у немца шансов оказаться под Москвой!

Михаил Федорович Лукин был одним из немногих уцелевших после сталинской резни наших высших командиров РККА и не его вина, что немец все-таки дошел до Москвы.

После войны награждение мне утвердили и выдали новый орден. А этот с небольшим номером, выданный еще в Гражданскую, я вернул генералу.

Ночью пришли две роты пополнения и одна пушка. На завтра все повторилось сначала. Во время одной из контратак у Лельки сгорел один танк. Экипаж, за исключением механика-водителя, спасся. Опять под вечер, когда нам пришлось совсем туго, нас поддержала батарея грабинских пушек, переброшенная командармом.

И тут задымился Лелькин танк. Я бросился к нему, возглавив последнюю контратаку. Немцев отбили. Когда я подбежал к танку, его люк был откинут.

Оттуда шел густой дым с языками пламени и чья-то рука цеплялась за борт. Я вскочил на машину и вытащил танкиста. Это был Лелька. Больше никого вытащить не удалось.

Осколками брони у Лельки была исполосована спина и грудь, он сильно обгорел. Медикаментов у нас никаких не было. Девочка-санструктор промыла его марганцовкой и перебинтовала. Но спасти его было невозможно. Он погибал на наших глазах тяжело и мучительно.

Я просидел около него до рассвета. Он вдруг спросил меня:

- Как ты думаешь, дядя жив? Может его отпустили и он тоже где-нибудь дерется?

Что я мог ему сказать? Я ответил:

- Не знаю. Но он сегодня был бы доволен нами!

- Наверно так, - сказал Лелька и попросил пить.

Воды у санструктора не было. Я отошел и крикнул ординарцу, чтобы бегом тащил котелок. Когда вернулся обратно, вода была уже не нужна.

Девочка плакала над Лелькой.

Как-то в 50-м, в лагере, я спросил у одного бывшего учителя истории о сражении под Смоленском. Он ответил:

- Москву знаю, Сталинград, Курск, десять сталинских ударов. А про Смоленск, ты уж извини, не слыхал!

После смерти Сталина понадобилось еще несколько лет, чтобы в наших военных трудах и учебниках истории появился термин "Смоленское сражение". То самое сражение, в котором мы подготовили разгром немцев под Москвой.

В конце 33-го моего комбрига отозвали в Москву. Он сказал:

- Хватит валять дурака! Поедешь со мной и будешь учиться!

В Москве я поступил на рабфак, а потом на заочный в "Бауманку". Работал на "Серпе" в горячем цеху, жил в общежитии. Моего комбрига перевели в Ленинград, вроде бы инспектором кавалерии округа. Жизнь закружила и мы не переписывались.

В апреле 35-го, поздно вечером, я шел из заводской поликлиники. Повредил руку в цеху и ходил на перевязку. В одном из бесчисленных тупичков услышал возню и сдавленный крик о помощи. Я побежал на крик. Трое мужиков, в темноте их было не разглядеть, прижали к забору женщину. Когда я подбежал, они оставили женщину и пошли мне навстречу.

- Отойди, а то наплачешься! - сказал кто-то из них.

Я долго не раздумывал. Отпихнул одного, тот упал. Сбил с ног второго. Они еще копошились, когда на меня бросился третий. Я дал ему по шее и он оказался на четвереньках.

-Ну, сука, молись! - сказал он яростно матерясь - Пришел твой последний день!

Я почувствовал, что у него в руке нож и прислонился спиной к забору. Двое других не спешили меня атаковать, выжидая что получится. Мой противник подходил ко мне крадущейся походкой, пригнулся и на мгновение остановился. Я шагнул, ударил его ногой по руке. Нож вылетел и я ввалил ему что было силы. Он упал и не двигался. Те двое бросились наутек. Но им надо было пробежать мимо меня. Один проскочил, второго я свалил подножкой, подошел к нему, поднял за шиворот и наотмашь ударил кулаком. Потом снял ремень с его брюк, перевернул на живот и связал руки за спиной.

Женщина подошла ко мне и обеими руками схватилась за мою руку. Она дрожала. В это время зашевелился мой основной противник. Он опять стал на четвереньки, матерился и угрожал мне всякими карами. Я подошел к нему и почувствовал, что от него несет, как от винной лавки.

- Брось материться и извинись! - сказал я.

Он не внял моему совету. Я еще раз легонько ему наподдал.

- Не буду больше! Не буду больше! - завопил он.

Я снял с него ремень, надел на шею, как поводок.

- Бери приятеля - сказал я - и пошли!

- Куда?

- Придем, узнаешь!

Он молча перекинул через плечо второго, пока не подававшего признаков жизни, и мы двинулись. За квартал от милиции он разыграл истерику, бросил приятеля на землю, стал скрежетать зубами, опять материться и грозиться. Я молча врезал ему от души. Женщина вскрикнула и опять схватила меня за руку.

- Вам что, жаль его? - спросил я.

- Я за Вас беспокоюсь! - ответила она.

На этот раз бандюга не приходил в себя минут десять. Потом тихо взмолился:

- Слушай, мужик, отпусти меня и я про тебя забуду! Б... буду, вовек не вспомню!

- А мне плевать, вспомнишь ты меня или нет! - ответил я - но еще раз встретиться со мной берегись! Бери приятеля и пошли!

Таким порядком мы и пришли в милицию.

- Ба! Вавила с Дергунчиком? - удивился дежурный по отделению - И в каком виде?? Мы то вас ищем, а вы, вот, и сами пришли!

Пока составляли протокол, пришел третий.

- Учтите, я - добровольно! - с порога сказал он - Так и пишите!

Вавила злобно посмотрел на него, хотел что-то сказать, но, взглянув на меня, промолчал.

Здесь в милиции я, наконец, разглядел женщину. Она оказалась совсем молодой девчонкой. При составлении протокола выяснилось, что ей восемнадцать лет, зовут ее Татьяна Георгиевна, что после окончания школы она работает в нашей заводской поликлинике и учится там на курсах медсестер.

Когда мы уходили, в дежурной комнате было несколько милиционеров. Один из них подошел ко мне и сказал:

- Эти у нас надолго останутся, так что Вы не бойтесь!

- Да что вы все, как сговорились! - возмутился я - Не боюсь я их! Пусть они меня боятся!

- Вы просто не знаете, что это за подонки, - сказал милиционер - Особенно этот - Вавила! Весь район в страхе держит! Но, наверное, Вы правы! Так и нужно! На крыльце я протянул девушке руку.

- Митя - сказал я .

- Таня - ответила она и крепко тряхнула мою руку - Вот и познакомились!

Так я встретился с Таней. Она прочно вошла в мою жизнь. Но я был на четырнадцать лет старше и отношения наши развивались не быстро и не просто. Три месяца, когда я работал в первую и вторую смены, за исключением институтского дня, я, как часовой, ждал ее у дверей поликлиники и провожал домой.

Отец Тани, московский адвокат, умер несколько лет назад. С матерью, красивой и еще молодой женщиной, я познакомился. Они жили на Таганке в большой четырехкомнатной квартире. Три комнаты занимали Таня с матерью и одну - соседка. Мать Тани относилась ко мне с прохладцей и наших контактов явно не одобряла.

Таня хотела поступить в медицинский и усиленно готовилась. Я знал, что они с матерью должны уехать на дачу. И хотя я чувствовал, что Таня относится ко мне не просто, как к случайному знакомому, для какого-то определенного разговора я не нашел ни храбрости, ни слов.

Перед самым ее отъездом я рискнул зайти в кабинет, где она работала. Она была одна, стояла в белом халатике перед зеркалом и, увидев меня, ойкнула и как-то лучезарно улыбнулась. Как ангел в белом халате.

Такой я ее и запомнил!

Сейчас Таня - доктор медицины и бабушка. Но она - красивая молодая женщина и за ней еще пытаются ухаживать некоторые студиозусы. А для меня она всегда - ангел в белом халате.

20 апреля 45-го нам, 7-му кавкорпусу генерала Константинова, сделали "дырку" у фольварка Бизов под Берлином. 21-го на рассвете мы всеми тремя дивизиями вошли в прорыв и через Берлинерштадтфорс и Вандлиц пошли на Ораниенбург против корпуса Штайнера.

У моста через какой-то канал я увидел скачущего ко мне во весь опор комкора. Черная бурка развевалась по ветру. Точно так же он подлетел ко мне десять дней назад, прокричав:

- Дмитрий Алексеевич, дорогой мой! Ранен Шелгунов, принимайте дивизию, потом разберемся!

А через два дня сам лично вручил полковничьи погоны.

Что он хотел сказать сейчас я так и не узнал. Сзади меня что-то стукнуло и я потерял сознание.

Очнулся я в палате. У столика, почти спиной ко мне, сидела молодая женщина и писала. Я хотел окликнуть ее, но получился какой-то стон. Она услышала, мгновенно вскочила и кинулась ко мне. Это была Таня. Она плакала, целовала меня и все время повторяла: "Очнулся! Очнулся!".

Ранен я был тяжело. Сзади разорвался снаряд, Все, что можно, досталось мне. Я прикрыл комкора и он не пострадал. Из медсанбата меня, по приказу маршала Жукова, самолетом отправили в Москву. Об этом позаботился комкор. Он же и известил Таню. Двенадцать суток я был без сознания. И когда Таня стала уже отчаиваться, пришел в себя. Через месяц в палату пришел комкор и сказал, что поскольку я принял на себя все, что ему причиталось, он у меня в долгу. И слово свое сдержал!

Когда Тане с Наташкой было худо, он их поддержал, хотя тогда это было страшно и грозило тяжелыми неприятностями.

Летом 35-го, когда Таня уехала на дачу, я решил поехать к матери в Мстиславль. Но не вышло. Меня с бригадой направили в Магнитогорск. Отказаться я не мог - там произошел какой-то прорыв и партком объявил эту поездку партийной мобилизацией.

Зимой 36-го, в Магнитогорске, меня вызвали в партком комбината. Там сидел низенький полный военный с кружком на рукаве. Он сказал, что партком "Серпа" и местного комбината рекомендуют меня в войска НКВД. Не в следственные органы, а в войска, еще раз повторил он. Мои попытки объяснить, что я учусь и хотел бы закончить институт, ни к чему не привели. Через неделю я был в Саратовской школе войск НКВД. В феврале 37-го я был направлен в Управление кадров НКВД СССР за получением назначения.

В Москве, в гостинице, я переоделся в штатское и кинулся к Тане. Я неоднократно писал ей из Магнитогорска и Саратова, но почтового адреса я не знал. Я на конвертах писал, как найти ее квартиру, даже рисовал схему, но безрезультатно. Никакого ответа я не получил.

На звонок в дверь никто не ответил. Я походил несколько часов и снова позвонил а Танину дверь. На звонок вышел высокий парень, посмотрел на меня подозрительно и сказал:

- Нет ее. И не приходи больше!

Я решил, что это Танин муж, что Таня для меня навсегда потеряна, сник и на душе стало пусто. Только потом я понял, что этот парень вовсе и не знал о Танином существовании. Просто москвичи в тот год боялись, когда о ком-то спрашивали и кого-то искали.

В Управлении кадров вопрос решился для меня неожиданно. Меня назначили в охрану главного здания НКВД на Лубянке. Я был дежурным помощником начальника караула и отвечал в свое дежурство за доставку

заключенных из внутренней тюрьмы в кабинеты на допрос и обратно. То есть был начальником над дежурившими вместе со мной конвоирами или "вертухаями", как их называют. Работа была мне сильно не по душе и я мечтал вырваться. Правда, как это сделать, не представлял. Да и мои сослуживцы, так, по крайней мере, мне казалось, тоже большого восторга от работы не обнаруживали.

Я был новеньким и меня посвящали в таинства службы. Характеризовали начальников и следователей. Особую неприязнь вызывал один из них, носивший между нами прозвище "Лысый". Череп у него действительно был, как колесо. Про него говорили - зверюга.

Так и настал этот мартовский день. Праздничный, потому что Таня каждый год его торжественно отмечает и я, в общем, с ней согласен. И проклятый, из-за страшной моей трагедии.

Во второй половине дня позвонил по внутреннему телефону Лысый и потребовал доставить заключенного. Я ответил, что сразу не могу, т.к. все конвоиры заняты.

- Доставьте сами! - своим птичьим голосом приказал он.

Все-таки он считался начальством и был старше меня по званию. Пришлось подчиниться. Я ответил согласием. Он назвал камеру и фамилию. Я вздрогнул - фамилия была мне хорошо знакома. Но потом решил - мало ли людей с одинаковыми фамилиями. Хотя у меня был пистолет, взял за чем-то карабин и пошел в помещения внутренней тюрьмы. Надзиратель открыл камеру и выкрикнул фамилию. Заключенный вышел.

Передо мной стоял мой комбриг. Он был без сапог, в каких-то немыслимых туфлях, галифе с болтавшимися штрипками и гимнастерке навывпуск без ремня. В каждой петлице гимнастерки были следы от вырванных с "мясом" двух ромбов.

Увидев меня он не дрогнул, только широко раскрыл глаза. Потом взгляд его потух, стал безразличен. Он сложил руки сзади и повернулся ко мне спиной. В полном молчании мы дошли до кабинета Лысого и вошли туда. Лысый встал, и в это время зазвонил телефон. Он поднял трубку, что-то буркнул в нее, показал моему комбригу на привинченный к полу табурет перед столом и сказал:

- Сиди, думай!

А мне сказал:

- Я скоро приду. Этот пусть сидит, не шевелится и думает!

Мой комбриг сидел, глядя прямо в пол перед собой. Когда шаги Лысого затихли, я сказал:

- Меня сюда мобилизовали. У меня пистолет и карабин, они в твоём распоряжении. Командуй, ты командир!

Он не отреагировал. Прошло еще несколько минут и я спросил:

- Ты меня слышишь?

Он в очень замедленном темпе утвердительно кивнул, но больше не шевелился и молчал. В моей душе была буря. Я готов был стрелять во всех и каждого и умереть здесь вместе с ним. Но он этого не хотел.

С каждым годом мне все ясней, какую неотвратимую проблему решал он тогда. Он знал, что его ждет в кабинете Лысого, понимал гибельность для обоих любой попытки вооруженного сопротивления и думал, как сделать, чтобы я уцелел.

Вернулся Лысый. Я сжал карабин и напрягся. Я готов был действовать один и только быстрый и понятный мне взгляд моего комбрига удержал меня на месте.

Лысый сказал:

- Ну что? Будешь молчать? Смотри, пожалеешь, что мать на свет произвела!

Прошелся по кабинету и добавил:

- Сейчас мне некогда. Вернешься в камеру и обдумаешь, что я сказал!

И кивнул мне:

- Увести!

Мы двинулись обратно.

Когда кончился паркет, за углом пустого коридора в тюремном переходе мой комбриг вдруг резко повернулся и схватился за ствол карабина. Я тоже машинально сжал пальцы.

- Отдай, Митя! Так нужно! - сказал командир.

Пальцы мои разжались.

- А это, чтобы ты был не причем! - сказал он.

И в ту же секунду его чугунный кулак въехал мне по левой скуле под глаз. Я упал, потом, опершись о стенку, сел. В глазах у меня мутилось, но я хорошо видел, как мой комбриг, стоя спиной ко мне, уперся прикладом в стенку, правой рукой зажал ствол, а левой дотянулся до спускового крючка.

Он прижал висок к дулу. Потом выпрямился, вздохнул, снова прижался к дулу и нажал собачку.

Голова его резко отдернулась, колени подкосились и он упал лицом вниз на цементный пол.

Выстрела я как будто бы не слышал. Зато скрежет упавшего на пол карабина показался мне грохотом ледохода. Захлопали двери кабинетов, по коридору бежали люди. И еще издали я услышал истошный крик Лысого... .

1961 г.